



денис  шпека

ВИДЕТЬ ЗДЕСЬ ТЕБЯ ~
ВОТ, ЧТО ПОИСТИНЕ МНЕ
НЕПРИВЫЧНО

Денис Шпека

**Видеть здесь тебя – вот что
поистине мне непривычно. Ведь
тебя никогда здесь не было**

«Издательские решения»

Шпека Д.

Видеть здесь тебя – вот что поистине мне непривычно. Ведь тебя никогда здесь не было / Д. Шпека — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-936748-8

J'ai une confession: c'est l'art brut, l'anti-art. Супрематическая реплика любви, на которую способно было лишь обливающееся сердце. Мучительная беременность двойняшками с вечными именами: смертью и жизнью. Два опыта, что говорят сами за себя; две компромиссные попытки поместить камеру-люциду в камеру-обскура, а после найти им применение. И наконец, безупречные новый, старый завет в подарок на совершеннолетие тысячелетия. Книга содержит нецензурную брань

ISBN 978-5-44-936748-8

© Шпека Д.
© Издательские решения

Содержание

A l'intérieur de l'hôtel «L'ennui-bleu» I	6
Введение в ад забвения	6
Артюрово детство / Интерлюдия к вылуплению	10
Таял жженный саха-рок	13
235h	16
Твое покаяние – мои покои	19
вправо	20
влево	20
на пол	20
в небо	20
Malgré etat libre d'abricot (Reprise)	21
Этот бордовый будто тоже синий	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

**Видеть здесь тебя – вот что
поистине мне непривычно
Ведь тебя никогда здесь не было**

Денис Шпека

© Денис Шпека, 2018

ISBN 978-5-4493-6748-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

A l'intérieur de l'hôtel «L'ennui-bleu»¹

*«И учил их, говоря: не написано ли: „отель Мой домом пристрастий
наречется для всех народов“? а ты сделала его вертепом иссякшего.»
Евангелие от Рембо † 05:35*

Введение в ад забвения

Как во рту отрубленной головы Господа Бога, – стерильно. Брюшная полость содержит около десяти литров прозрачной жидкости темно-красного цвета, с отдельными сгустками крови. Положение органов анатомически правильное. Брюшина гладкая, блестящая. Сальник без видимых жировых отложений, местами покрыт легко отделяющимися сгустками крови темно-красного цвета. Брыжейка, серозная оболочка кишечника и преджелудков без видимых изменений. Купол диафрагмы на уровне седьмого ребра. Сосуды брыжейки спавшиеся.

Ничего себе, нет, ты глянть. Померла еще одна яйцеклетка, а с ней и.

После четвертого абсента я уже не здесь. Предсказуемость заточения и то, что я обязан писать все это, да еще и косым языком, сводит с ума. Голая вшторенная блядь, всуе обняв меня сзади, своей чуть менее трясущейся рукой заставила отпустить и навсегда забыть кусок стали внутри чрева, которое мы после так и зашили. И что ей дальше не спалось?

В двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишках небольшое количество содержимого желто-коричневого цвета, слизистая оболочка бледно-серого цвета, с розоватым оттенком, блестящая.

Это не вы читаете. Это, как встарь, вас читает малолетняя девочка. Вылезая из вас, вылизывая себя. Вам ни за что не догадаться, как она на вид и какой она может стать из подручного. Прямо как моя пиздоглазая Ева, которой я уже устал менять лица. Еще вчера (вчера?) марокканка, а сейчас она вылитая русская. Насколько бы не связным я не был, на момент появления последователей мои свойства уже не поменяются. Кусайте локти.

Брыжейка, серозная оболочка кишечника и преджелудков гладкая, блестящая, сероватого цвета. Купол диафрагмы на уровне седьмого грудного ребра. Сосуды брыжейки слегка спавшиеся, с незначительным наполнением кровью, располагаются в виде продольных полосок, идущих к серозной оболочке кишечника. Грудная полость содержит около одного литра мутной соломенно-желтого цвета опалесцирующей жидкости. Селезенка уменьшена в объеме, дряблая. Пульпа: на разрезе зернистость слабо выражена, рисунок смазан, красно-коричневого цвета.

Был нарушен обмен веществ. Не единожды и не дважды нарушена дозировка. Нарушен даже документооборот нашей организации. Бифидобактерии вечным диалогом между друг дружкой выели орган за органом. Чую-чую, нужно было читать мелкий текст под въедливой рекламой.

Анус закрыт, слизистая оболочка блестящая, белого цвета, влажная, кожа вокруг ануса не загрязнена.

Казалось бы, какой сегодня год, а керосин для единственной лампы все еще непозволительно дорог. Свечения спутницы хватило, чтобы разглядеть в окне проходящих мимо. Им интересна внутреннее кровоизлияние? Или мое нутро, впитывающее несуществующие болезни?

¹ (titre provisoire)

Мочевой пузырь содержит небольшое количество мочи, слизистая оболочка его бледно-серого цвета. Кожа, подкожная клетчатка бледные, с желтоватым оттенком, жировые отложения не выражены. Волосяной покров гладкий, без блеска.

Три порции табака назад, она была совершенно другой наощупь. Мое сверло стало продолжением, тенью моей нервной системы и введя его между ребер, я почувствовал то же количество червей, что и наутро в своих глазах, объевшись пюре из великого своеобразия, так восхищающего других.

Я наматываю кишки на руку, как живые мощи, сжимаю, как ее руку в самых счастливых снах. Но не нащупать ни чувств, ни слов. Скучно одинаково везде, в том числе, – в испортом теле. Кто бы знал, ведь я ценил в этом страсть, а не матримониальную пошлость.

Я бы сказал, что мне было не по себе, но я прекрасно понимаю, что паранойя просто поджидает подходящей секунды. Мне снова нужно жить. В этом и проблема, и ее самое античное решение. Я не присваиваю ее себе, но я наблюдаю сожаление точно в ее сердце.

Оно округлой формы, верхушка притуплена в результате расширения правого желудочка, сердечная сорочка и эпикард гладкие, блестящие, мышца дряблая, имеет вид вареного мяса, бледно-красного цвета, рисунок сглажен. В полостях сердца, особенно правого, сгустки крови. Двустворчатые, трехстворчатые и полулунные клапаны эластичные, без видимых изменений.

Жуткая боль окропила своим семенем и мою грудь. Я по инерции взялся за сердце той же рукой, которой лапал и, сам не сознавая, пытался включить сердце чужое. Конечность и без перчатки взаимодействовала с белым халатом предсказуемо – через секунду я был окрашен в цвета флага восходящего солнца. Солнца мертвых. Сомневаясь, но все же выйдя на холод, чтобы отдышаться и побороть тягу хотя бы к курению, я стеснительно, но чуть менее, чем обычно, оглядел синеличных зевак, что тарашатся на процесс через окно. Их едва ли сумасшедшие мотивы дают на минуту сосредоточиться в это время суток. Как воск под солнечными лучами, днем я оплываю, а ночью твердею: от такого чередования я то распадаюсь, то вновь обретаю форму, подвергаясь метаморфозе при полной инертности и праздности. Неужели это и есть искомый результат всех моих чтений и обучений, итог многих (многих?) бессонных ночей? Лень притупила мои восторги, ослабила мои желания, истощила мой азарт. Тот, кто не потворствует своей лени, кажется мне чудовищем; я напрягаю все свои силы, обучаясь безволию, и упражняюсь в безделье, противопоставляя собственным прихотям устав искусства загнивания.

Я совсем не хотел существовать вне, но, по всей вероятности, иного пути мне уготовано не было. Если люди живут так, если они видят только это, и двигаются только по этим дорогам. Разве они не случайны? Куда они смогут приехать, и что вообще им нужно от жизни?.. Теперь все больше незнакомцев подходят ко мне и осматривают мою несуществующую рану, заглядывают ко мне в рот, знакомятся с запахом моих прокуренных пальцев. Они чего-то хотят. Громадный строй устремляющихся к смутным целям. Переплетающиеся тревоги – и каждый хочет, и толпа хочет, и тысячи тянутся неизвестно к чему. Я не могу брать с них пример, а уж тем более бросать им вызов; я не перестаю удивляться: откуда в них столько бодрости? Поражительная подвижность: в таком маленьком кусочке плоти столько истерии. Никакие сомнения не успокоят этих непосед, никакая мудрость не утихомирит, никакие бессмысленности не огорчат. Опасностями они пренебрегают с большей решимостью, чем герои: это бессознательные апостолы эффективности, святые сиюминутного. Они дрессируют друг друга, если нет домашней твари. Люди дрессируют людей. Дрессируют свой страх. Больше тех, кто живет настоящим или будущим, я ненавижу только само время.

Я бог бесполезной недели.

Я отворачиваюсь от них и покидаю эмират внешнего мира. За кордоном, на этом крыльце, мне всегда не по себе. Здесь осень наступает не понятно, когда. Было, однако, время,

когда и я восхищался завоевателями и рабочими пчелами и даже сам чуть было не стал пленником надежд. Зато теперь движение приводит меня в бешенство, а энергия – печалит. Более мудро плыть по воле волн, нежели бороться с ними. Родившийся после собственной смерти, я вспоминаю о времени как о ребячестве или как о безвкусице. У меня нет ни желаний, ни досуга на их исполнение, а есть лишь уверенность в том, что не успел я появиться на свет, как уже пережил самого себя, что я, утробный плод, мертворожденный ясновидец, страдаю всеведением идиотизма, поразившим меня еще до того, как открылись мои глаза. Я могу оценить себя только в свете внутренних событий и поэтому эта палата за спиной, долина плача, с ее неизменной атмосферой – идеальная локация для верчения параноидального сознания в поисках кнопки «отключить». Осенью – осеняться.

Совсем не выделяется слюна, но во рту становится пряно. Повернувшись, я задел единственное живое создание, что мой ум сумел породить – деву с волшебным лицом Богородицы. Шлюха зачем-то пошла за мной, видимо, все это время высматривая, бешеными глазами шаря в карманах моего халата, но ее жилам мне нечего более предложить. Я умудрился посадить ее на все, что знал сам. Несмотря на то, что этой палаты никогда не существовало. Сейчас (сейчас?) ее неминуемую смерть может принести даже сухой окурочок самокрутки. Мою личность ей уже не приручить, но по всей видимости, именно она ввела мое тело в искусственную кому. Первая кома – как первый секс. Здесь становится очевидно, что жизнь идет ни по кругу и ни по спирали, а согласно образам, засевающим в голове ночью. Поздней ночью, когда сиреневый рассвет растворился в закате алом, когда все перемешалось, случилось то, что... И если мое положение на терцию может показаться очевидным, то всегда остается узнать, что же за создание лежит на моем операционном столе.

Когда меня переполняет такого рода символизм, я замолкаю и берусь за дрель. Я тонко чувствую, когда мне нечего сказать, и сжигаю свои слабые стороны крутящим моментом. Кости случайных форм дробятся, а после скрываются за слоем кожи и самим фактом своего незаметного для посторонних разрушения подтверждают наконец, что мне что-то подвластно. Мне приходится купать руки в чужой крови, но каждый час, обжигаясь этим табаско, я представляю, что топлю в ней все бессодержательное, что может помешать мне выбраться отсюда.

Как и похожим на меня героям в дурацких, бездарных книгах, мне всегда не спится. Никакого сатанинского танго под Аукцион с той, в которой я по необходимости мараю свой член. Меня не зовет плотоядная пустота, меня никогда не тянуло к мертвечине, а вместо того, чтобы быть шатуном, я бы выбрал быть шутом на ярмарке жизни. Но я вижу качели в пустоте, и себя в них девственником, всего в плаценте, смиренного, но не смирившегося с количеством доступных измерений. Заслуживаю ли я жизни? Да, как и любой юнец. Уравновешу ли я не случившийся аборт, перейдя черту детства? Нет. Я определенно созрел для смерти, как мне казалось, – чужой.

Когда я вернулся, ее глазные яблоки уже растаяли в честь торжества формы над содержанием.

В жуткой вони качнув маятник для восхищения пока идущим временем, я принялся препарировать беременную матку таким образом, как будто я ее выдумал. В этой матке вдохновение для новой книги. Скальпель куда-то исчез, но разве это может помешать мне разобраться в происходящем? Отвратительный смысл насущный. Она увеличена до двадцати недель, выведена в рану, по левой боковой стенке в области сосудистого пучка имеется разрыв стенки матки, матка синюшного цвета с множественными кровоизлияниями. По правой боковой стенке также имеется разрыв матки, решено произвести низкую надвлагалищную ампутацию матки без придатков. Зажимы Кохера наложены на круглые связки матки, дистальные отделы маточных труб и собственные связки яичников. Связки пересечены и лигированы. Пузырно-маточная складка вместе с мочевым пузырем спущена книзу. На маточные сосуды ниже кетгутовых швов наложены зажимы, сосуды пересечены, прошиты, произведена надвлагалищная

ампутация матки. Культия матки ушита отдельными швами, викрилом. Перитонизация культи за счет пузырно-маточной складки. Слева яичник частично резецирован в виду кровоизлияния.

Иногда у меня такое ощущение, что эго, которым я обладаю здесь, внутри, велико и ненужно мне. Во Христе и вне его.

И все-таки: что со мной?

Труп ребенка женского пола, правильного телосложения, удовлетворительного питания. Даже для этой большой манды он был слишком громоздким. Длина трупа тридцать сантиметров, масса тела пятьсот десять грамм. Трупное окоченение отсутствует во всех группах исследуемых мышц. Будто уже отвергает исподнее. Окружность головы двадцать с половиной сантиметров, окружность плечиков девятнадцать сантиметров, груди семнадцать с половиной сантиметров, бедер четырнадцать сантиметров. По всей поверхности тела имеется сыровидная смазка белесоватого цвета. Под лохмотьями какой-то ткани кожные покровы – тонкие, красновато-розовых оттенков. Видимые признаки гниения не обнаружены. Голова правильной формы, волосы черного цвета. Я кладу на ее затылок свои пальцы, как сын благославляет своего старика на смерть. Глаза закрытые, роговицы мутноватые, зрачки равномерно расширены с обеих сторон, соединительные оболочки век красно-розового цвета. Сквозь закисные отверстия ни труп дитя, ни труп матери не видели лиц друг друга. Хрящи носа и ушных раковин слабо развиты, ушные раковины плоские, мягкие, края склеиваются, не вогнуты внутрь. Хрящи носа на ощупь целы. Отверстия носа и наружных слуховых проходов свободные. Рот закрыт. Я вскрываю его и почти рву: зубы так и не прорезались. Язык в полости рта. Шея средней длины и толщины, подвижная. Ногтевые пластины не доходят до края ногтевого ложа. На лице, туловище, конечностях имеются мягкие коричневого цвета пушковые волосы. Грудная клетка обычной формы, симметричная. Живот расположен на уровне грудной клетки. Наружные половые органы сформированы правильно, по женскому типу, большие половые губы не прикрывают малые, выделений из наружного отверстия мочеиспускательного канала нет. Заднепроходное отверстие несколько зияет, кожа вокруг него опачкана вязкой жидкостью зеленовато-коричневого цвета. Верхние и нижние конечности развиты правильно, соразмерно туловищу. Кости головы, туловища и конечностей на ощупь целы. Пуповина сочная, блестящая, влажная, белесоватого цвета.

Неожиданно для всех, внутреннее исследование показало наличие мрачного количества веществ, самых полярных свойств, в трупе дитя божьего. Я запросил их расшифровку. Через некоторое время высшие уровни нашей духовной организации передали мне полный список. Остановив липкими пальцами маятник и прогнав единственную живорожденную женщину, я решил принять каждое из них на протяжении и провести одну ночь (полярную?) в аду.

– Привет, Артюр.

– Привет.

Я все еще там, где выкидышем родилась во тьму первая строчка этой книги-в-книге.

Я открыл ее первым.

Я искал в ней бесконечное заклинание детства.

Артюрово детство / Интерлюдия к вылуплению

Здесь ничего, ничего мне не принадлежит, кроме разума.

Ночь кормления, пальмовая ветвь которой заразила его шествием от обратного, променяла повествование на танец голой и излишне нанюханной девы (близнецов, стрельца?).

Ангел ли, но последнее, во что одета эта – кокаиново-белый пеньюар. Стриптиз, задиранье подола синхронны блюзу Кобейна на порванных струнах, уже знавшему, чем все закончится. Ее длинными ногами само детство садится на мои колени и раздвинув их, вытворяет то, на что никогда бы не было способно. Кто-то выключает свет. Вскрики на мое ухо, мокрый шепот, вздохи, краткие паузы и пронзающие стоны; на фоне играет один из фирменных сетов Hôtel Costes. Рано или поздно стеклянный стол лопается под ней и распадается на восхитительные детали, но она зачем-то продолжает ерзать в осколках, исследуя стойкость к бедламу, свою кровопотерю.

Так я утверждаю жизнь через ее пугающее блядство. Классика жанра, что я придумал сам.

Фрикций губами ото всей творческой, выдрессированной (бла-блаблабла) и богоугодной пиздобратии ему мало; ему попались еще одни, трезвые. Изменить положение единого духа комнаты ему требовались время и внимание. Простая поллюция разума обрекла бы несопоставимое количество любовников на отогревание их воспоминаний. Даже не слово, а мысль моя – как устричный нож в психологической аутопсии. На грубый замер, и грань моего рассудка тоньше среднего по отелю. Но я ведь я джанк, со мной должно быть сложно.

Я здесь не для того, чтобы высказаться, я здесь для презрения объемом с мизантропию всех, кто сгорел на самой середине пути. Кто знал о собственном даре вдохновения, расслоения реальности в ее пике, но чаще прочего замолкал, отпускал себя почти что намеренно. У кого была мечта не рассказать, а говорить, и он хотел воплотить ее. И потеряв что-то обычным октябрьским днем, так и не дождался желанья попрощаться с сознанием. Я прямо посреди них. Ухожу под каванский лед.

За всю ночь я так ни разу и не улыбнулся. Бегло оглядывая ее края, все в разводах, я догадываюсь, как кровь из носу жажду самой обыкновенной катастрофы в своем северном Ватикане.

Он поймал себя в пространстве, в нескольких из множества доступных измерений, лежащим на кровати и водящим своим водянистым, как непереваренные овощи, языком по другим деснам, как рукой ребенка в деактивированном канале. Ты пустая, точно дитя; босая, как фальшь для его глаз. И не пересчитать количество зависимостей, которыми он мог заразить через слюну сейчас же. Он не стал и не хотел. Артюр вроде бы нуждался в ней, укутанной в веру в неслучайность встречи. Я не раз слышал, что шрами, ожоги, родимые пятна могут быть сексуальны. Так попробуй захотеть меня с сочащимся гноем на сгибе руки.

Ты и я плещемся в ванной, тебе страшно. Чтобы тебя успокоить, я начинаю рассказывать истории из своего необъятного детства, которым я богат, тем самым своими лощеными словами вызывая неподдельный интерес. Все хорошо, любимая. Если ты боишься сделать это здесь, мы можем уйти в сам номер и совершить это на глазах у всех.

Вокруг них, во всех углах этой огромной комнаты происходило зачатие новых жизней – торжество скупого смысла и этой реальности. Он берет ее за шею нежностью Анны Герман и спиной ведет на балкон, на его карниз, думая лишь о том, как в моменте проявить всю ту любовь, которой был единожды вознагражден. При мне ты всегда шагала назад. В разуме имеет место лишь данность, она же понимание, что у каждого чуда первого или глубоко забытого восприятия все равно не изъять прощание с ним.

На узком балконе он плавно наклоняет ее ближе к свежему асфальту на дороге, по сути, потустороннего мира. Дождь с Атлантики, а не она, заливают слезами его руку. Она влюблена, ей не больно. Она доверяет, хотя еще в детстве ты боялась каждый шорох. И в глазах ее темно не из-за запасов воздуха, а его такого непостижимого и узнаваемого темного лика. Он затмевает.

Плачешь? Зачем?

Если тебе кажется, что ты раскусила меня, желающего казаться удручающим, кем я на самом деле не являюсь, то нет. Я мечтал, чтобы ты хотела меня таким. В мире со средней продолжительностью жизни, где вдохновение кормят желанием жить или умереть, моя вымученная графитовая скука и есть та возбуждающая экзотика. Пока мы внутри этой книги, я люблю тебя, сколько я хочу. Девять дней, шесть с половиной минут. Мурашки на твоей коже для меня как азбука Брайля.

Достигнув того же градуса наклона, что сумел измерить в ее крови через кожу, он остановился, заметив вывеску Tabac. Давно же он не употреблял чего-то номинально законного. Резко ступив в комнату, он подобрал чью-то тлеющую сигарету ради того, чтобы это маленькое действие вернуло едва слышимый запах его мечт, хотя бы его. Всего на секунду детский смех с улицы смешался с синим пламенем сухого спирта и с женскими стонами, приглушенными, будто бы из глубины бассейна. Я как наблюдатель нахожу это странным, ведь все спят. Но здесь никогда не утверждается обратного.

Мне интересна не эта книга, не ее издание, а слова внутри. Слова как заклинания. Поэтому все мои слова – это прошлое, Невозможное. Я сам выедаю себе мозг. Но я знаю, как связать нас ими, моя девочка. Бессвязно связать.

С сигаретой меж пальцев, он начал водить руками в воздухе, выписывая мелодии, будто рядом спрятался терменвокс. Если она когда-то и играла там, то в его душу возвращалась, не стучась, сарабанда, сменяя лакримузу, но трипхоповый гул в ушах лишь нарастал. Протрезвел? Я более не раздвоен, расчетвертован в этой комнате? Хорошо.

Возвращайся, когда захочешь меня настолько, что тебе будет все равно, скучно от слова «совсем», кто и когда изыдет в свет сквозь тебя. Святые попросту не рождаются в этой вони разочарований.

Для трезвого понимания кто есть кто в современной литературе достаточно просто помнить, что в Hôtel Costes, в комнате Артюра Рембо, время перечеркнуто как явление и, пока очередные таланты окучивают славные Пулитцеровские премии и стремительно забываются, в этой чудесной и чудовищной вселенной лишь успевают истлеть сигарета в его руках. Вы вечно звоните в колокол по тому, что ищите и находите свой второй дом, но если и иметь второй дом – то только подобный. Если бог существовал, он сейчас был бы где-то здесь, занимался тем же самым.

В мою голову только и шепчут, что кто-то умер. В каком из смыслов?

Если бы в моей книге играла музыка, если бы вы только могли видеть все это, было бы куда проще. Лишь тогда опыт погружения был бы полон. Знайте, на протяжении всех этих предложения я слышу, как кто-то, что-то нестабильно крадется. Такой скрэтч очень режет даже мое привыкшее ко любым речам ухо. Как бы я хотел, как надеюсь я, что меня здесь не найдут.

В огромной ванной слышно веселились и грустили безымянные пока нимфы, разбивая там сад из пленивших их беспокойств, скорби, подзывая его присоединиться. Я не просил стирать мои вещи, но они порошка, еще, еще и еще. Они так хотят вдыхать его, плясать голышом. Они не любят кокаин – им просто нравится, чем он пахнет. Я ступаю к ним по разлитой на и без этого скользкий пол воде, кривоватый напор которой емкости в номере не в состоянии вместить. Другие бы в ней уже утонули, но мне она по колено.

Одни голые, голые бляди. Голая правда. Сомнительные образы беззвучных времен. Мне уже давным-давно все равно на эту книгу. Нет, не напоминай. Мне интересна не она, не ее издание, а слова внутри. Слова-заклинания.

В такие холода мне нужно лишь соответствие смерти. Я знаю точно: здесь мы не обнищали духовно, как может показаться, ведь были нищими в момент, когда первый его камень был заложен в наши сердца.

Из-за перепада температур на окне, а потом и зеркале в ванной смущенно проявились отпечатки ее рук. Кажется, именно так с ним общается печальный свет луны его молодости. Я курю в это окно и тяжелым пеплом посыпаю ваши бездарные головы. Ее голову.

Я помню детство – это значит, что я до сих пор богат. Помню, как сердце вырывалось из моей груди – однажды я действительно был влюблен.

Артур смотрел в окно на монохромный город настолько широко, насколько умел, будучи подсвеченным изнутри и снаружи, одинаково ярко, светом собственной звезды из тропика Водолея, и молил ее скорее погаснуть. Она в это время целовала асфальт, уверенная, что это он. Окурок окончательно затлел только на ее скривившейся ахиллесовой пяте.

– Дай мне рассказать о себе, но не так, как делают это другие мужчины.

Таял жженный саха-рок

Вокруг нет стен. Артюр Рембо выходит из отеля впервые за ночь. В его руке нитка. В зубах – игла. Он зашивает себе глаза и распускает бутон желания отправиться в путь наверх, а не в погону за смыслом.

Свой путь ловца измерений.

Артюр построил внутри себя храм и теперь ищет в него вход. Видно, как сосредоточенно он обходит Вандомскую колонну ровно три с половиной раза, придав большому телу развитие, вращение по спирали. Он явно находится в моменте от того, чтобы направить себя в сторону Гранд-опера. Игла выпадает из кармана, проникает сквозь узкую щель, достаточно самоуверенно пронзает отсутствие слабых сторон у книги. Кажется, что это происходит незаметно для всех, но он оглядывается и видит за спиной помешанных последователей. Они – его необрубленный пуп. Артюр оглядывается вновь и улавливает карнавальную природу марша, который он ведет за собой. В марше кипит жизнь, но так кипела жизнь только в польском гетто.

У подножья, напротив Церкви Святой Троицы, в одно мгновение все начинают идти на него, пританцовывая, но почему-то обходя брненное тело, оставляя один на один с той единственной, святой девочкой. В толпе он не так хорош, потому для него это – к становлению. Он смотрит в ее любвеобильные глаза, но видит лишь свой приглушенный тьмой свет. Такая не даст сочинять сопли.

И когда только он обучил себя не бояться его? Грани личности еле ощутимые. Ее душная поза позерши кажется ему мерзкой, и он пускает руку в ее белое кружевное белье, но что-то его все-таки отпугивает. Этот белый тоже будто синий. Она хочет быть с ним на одной высоте, девушке не приличествует завидовать. В первую очередь пеплом становится та, что горит. Здесь без исключений. Он передает ей что-то на редком языке. На мертвом языке?

Ваше внимание настолько сосредоточено на себе, что вы сходите с ума на протяжении всего года, каждую секунду находясь в моменте, одной секунде от того, чтобы прекратить все это. Но вы не можете. Лишь эта черта, по моей видимости, и отличила могилы, которые посещают чужие люди и те, что не имеют смысла в глазах смотрящего. То, что видел, вижу я, доведет меня до крайних.

Пора обратно в колесо. Он замечает четверть дыма в выхлопной трубе первого дома на Пигалль, не помня его число. Его истошно зовут, просят поторопиться. Маршу он озвучивает именно то, что каждый в толпе хотел бы услышать. И все внутри отныне говорят слитно. Он отправляется на самую вершину, впереди по циферблату, и я не очень понимаю, что может его остановить. У него свой компас, где север – это полное недопонимание, кто он такой. Поэтому если и есть какая-то проблема в концентрации этой истории, то она в том, что он не объясняет себе своего поведения.

Тут будто конец семидесятых. В номере до смерти не хватает воздуха. Телефон опять орет, имя мое забудут так быстро. Девы, все до одной, танцуют и ожидают, когда он их пересчитает, кого он выберет. Вам важно угодить им. Но не мне. Ложись ко мне и вдыхай, будто солнца нет, а есть что-то иного рода. Тяга сильна, а с тобой и сейчас – особенно. Наблюдай, как я протыкаю фольгу и одновременно с этим дырявлю себе чердак. Я всю не чувствую ног, тела, но проткнуть и тебя сейчас мне хватит сил.

Все так и есть? Так всего и нет. Здесь нет больше никакого риска. Оттого Артюр и ведет себя не так, как задумано.

Ты всегда можешь прекратить эту книгу, если тебе надоест. Хочешь понять, о чем я?

Видишь? Но если ты продолжаешь вчитываться, значит, тебя все-таки заинтересовало то, что я хочу тебе рассказать.

Ближе к вершине Монмартра, над баром Dirty Dick он замечает французский флаг. Забравшись на дом по окнам в пол, он разрывает флаг на две равные части, поперек, но только для роста градуса напряжения. Издаётся гром разрыва по швам пространства и времени.

Клуб La Machine du Mouling Rouge. Там, где он, папино молоко, отдал щекастый пион без стебля, выменял его на едва окрепшее желание облизать собственные мысли. Машина, двигатель того, что он имеет в виду, только вид этот – сбоку. Его мельница – это затхлое кабаре, где нет места танцам, его охота – на родник не прямой речи. Голова – пыточная для сего текста. Я воображаю. Не соображаю. Я захожу в него и прошу налить мне воды, чтобы без слез запить все, что смогу нащупать в кармане. В чем здесь измеряется время? В фаренгейтах, миллиметрах?

Во мне столько символизма, потому что даже в мире выдуманном уже нечего сказать. Но я пишу это именно так, как был бы должен при обратном, я ведь точно знаю, как нужно исповедовать искусство: цвета, детали, запахи и их слова. Ближе к цели, сквозь паутину ветвей кладбищенских древ смерти, где ему самое место, Артюр замечает пару ягод. Эта голубика выдает себя с первого взгляда, он съедает ее по половинке. Хитро.

Стук колес из-под вечного колокола. Прибытие его поезда. По кромке предначертанного Артюр ползет на самый вверх, к Базилике Святого Сердца, несмотря на усилившийся кислотный дождь. Ему не нужно оборачиваться, чтобы понять, что за ним следует весь город. Единственный базис его искреннего удивления – это непредрешимость сего мира, где все так складно.

На входе в католический храм его рвет, он не может остановиться, сплевывая нечто излишне, слишком синее, как новое вино. Так на ступенях прорезается подлинник Ротко. Однако никто в марше от него не отворачивается, более того, Базилика не в состоянии вместить всех, кто сейчас же поверил в его правду. Он крадет свечу, она еще пригодится. Застыв на алтаре близь мощей, Артюр весьма воодушевлен и готов начать иннагурационную речь нового творца или пророка:

– В моей душе никогда не будет так чисто и дисциплинированно, как было в душе гения. Меня никогда по-настоящему не распирало заниматься творчеством, мне бесконечно стыдно, я не хочу, но молю не узнавать меня такого. Все, что я написал, мне словно диктовали. Я слаб ровно настолько, чтобы дожидаться не вдохновения, а обратного, – сухости разума, но эта сухость бьется в истерике и пахнет пачулями, удом. Из нее есть выход. Впрочем, тот выход – краткие озарения, минуты теплой героиновой зоркости, что такой ход жизни абсолютно неизменчив. Я проговариваю это потому, что мир всегда лишь на половину горяч и блажен тот, кто не видит второй, остывшей его половины. Вкусив обе, я в совершенстве перестал их отличать. Как плоды перезрелых, почти гнилых абрикосов, собираю скуку повсюду. Я не вижу проблем в материях, все мои недуги – в восприятии. Потому с помощью наркотиков я лишь не выпрямляю кривую душу и ночи напролет, которым потерял счет два века назад, я безальтернативно брожу по граням моей правды. В самом красивом городе вселенной, в той его части, где эта красота дополнена уютным рабством крещения, я наг пред вами в моей пошлой святости, ненавидящий свои помыслы и пристрастия через зеркала, что не увидать. Презирающий отсутствие чувств и откровений, перегоревший сам себя. Я перехитрил самого себя. Не настоящий. Кажется, никогда таковым и не был. С дырой и ее не зашить. Это странное влагалище скристаллизировалось будто бы специально для окружающего мира, не понимающего, о чем я толкую. Но я sluкавил бы, произнеся, что мне нужно ваше оправдание.

Запрокинув свои головы на красивый купол, на иконопись, которую он только что обвел вокруг пальца вместе со вами всеми, толпа не обратила на его слова никакого внимания. Темно-синяя жидкость начинает литься и из его носа, хлестать флорентийским фонтаном. Ноздри не подвели его. Это спонтанный передоз.

Я успеваю присесть на пустую скамью. Я монолитен, я – ледник, застывший целиком из голубой крови сотни лет назад. Я никого не люблю, и сегодня, вроде бы, не воскресение. В самой печальной истории так ничего бы и не случилось. Поэтому, моя вечность, возврати меня туда, где. Туда, где. Туда. Моя вечность, просто верни меня назад.

*Город плывет в море цветных огней,
Город живет счастьем своих людей,
Старый отель, двери свои открой,
Старый отель, в полночь
меня
укрой.*

235_h

Он попадает в кровь. Он обнимается с кровью, целует ее в плечи, в тяжело обвисшую грудь. Кровь разносит его по дряхлому телу, словно талый снег. Пока в комнате нет бога – я живу.

Тишина.

SILENCIO

Не распознать и шепот мольбы о невозвратном. Я наблюдаю, насколько беззвучно проститутки, а точнее массы без имен и форм, могут рассыпать порошок на палас такого неизвестного экспрессиониста и лесом пушистых языков слизать его с шерсти. Высасывают весь, но без жадности, здесь у нас социализм и есть запасы. Мы не экономим. Сквозь непрозрачное стекло распространяется жадный до внимания луч света, делая тени мягче. Я присоединяюсь к ним, просто падая ниц. Для этого мне не пришлось взлетать вверх. Мне от этого не легче.

Здесь так тесно без тебя.

Его самая старая любовница, синяя зыбь, рябь, опережает рождение лица в зеркале; почти обесценивает его, предвещает страдальческое выражение совсем скоро. Моя голова меж моих коленей, исключительно от боли. Ветер снаружи превращается в непроизносимый вслух ветер внутри. Я вдруг осознаю, как именно мои клетки воспаляют и обрекают мое же левое полушарие на сопротивление. Я прерываю тишину. Я прошу их остановиться, но они, теплой святой водой омывая мне член, передают, что после смерти Артюр станет только нежнее. И они правы. Нельзя навязывать свой мир чужим.

Раздражение. Его явление. Оно лишь для не узнавших химии тела. Ты можешь всегда вернуться домой, но ты сейчас здесь. В номере два-три-пять.

numero 235

Мой огромный капюшон из синего бархата и секонд-хэнда спасает меня. Он защитит меня от свального греха. Сама структура книги охраняет меня от полной гибели всерьез. Смеется память – смеется опухоль. Еще немного, совсем чуть-чуть, и я усну с иглой из-за способности любить случающееся. Я буду вечно опьяненным молодостью. Еще пару ночей и мы с тобой переспим. Плевать, кто ты есть. Танцуй, пока просто танцуй, чтобы я упал с тобой в кровать. Здесь так много углов, чтобы усыпить тоску.

Очень абстрактно, одна из девушек, самая неразрешимая из всех, садится на кожаное кресло напротив. Выглядит так, будто совершает паломничество в мой угол. Ее лицо неясно, челка наверняка была запутана водой с неба. Отсутствующая, безучастная девица, выпавшая в моих объятьях из времени и грез, не более чужда мне, чем дверь или окно, через которые я могу выглянуть или пройти. Обычно такая гибнет в моих глазах цвета синего кокса или руках, не успев родиться. Я не вижу ее отличий от других и ничего не чувствую. Моя Магдалена. Упорно взявшись за мой член, она, как кажется, старается, но я не в состоянии шевельнуться. Никакого ремня, никакой ширилки. Член вымазан кокаином, только ли им? Мокрые волосы входят в рот вместе с ним раз за разом, но она будто бы не замечает этого. Она давится, горлом. Отбеливает свои зубы, ей важен такой лоск будущего. Было бы неудивительно, если бы она только сейчас ощутила, что она муляж. Зеркало на потолке. Лишь через него я в состоянии наблюдать за этими губами.

Не пролить слез зря, не раскаться, солгав. Лишь дешевый богемный вкус ее стараний на языке. Вокруг пустые действия, направленные в никуда. Вокруг летают синие тени и больно меня жалят.

С ними я могу понять непроговариваемое. Вспомнить запах каждого ее слова в его втором смысле. Я слушаю тебя, хотя твой мотив навсегда скрыт. Верши же полноту забвения. Танцуй головой, я буду напротив тебя. Я не знаю, кто ты, я не помню, кто я.

Я отличаю ее по татуировке на кадыке, «noir + bleu», где цвета вбиты наоборот, супротив реалий. Я и сам супротив вашим примитивным побуждениям, жалкой мистике. Меняю все на ничего. Такой закрытый, что туда вам не забраться. А ты сможешь. Буквы скачут в противовес друг другу. Будь осторожнее, это травмоопасно.

noir + bleu

Надо мной о неровности уже треснувших зеркал старательно пытается лопнуть черный воздушный шар.

Удивительно, но никак не удержаться, и из члена вылетает стая черных птиц, будто со спермой, и ввинчивается в воздух. Та же стая, что клюет его сердце, когда рядом никого. Она никуда не спешит и начинает общаться со мной необязательным языком:

– Моя история начинается в Японии в год революции Советов. В нем я родилась, и на выходе из матки мне было дано имя Лючия. Лючия Джойс, как это принято, по отцу. Все детство я болела, росла стеснительной и одинокой. Растерянные врачи очень удивились, когда все прошло. Я справилась с этим сама. Тогда я написала свой первый стих. В тринадцать лет меня отправили в школу-интернат. Уже там я стала ответственной за литературный журнал. Я печатала только твои стихи, Артур. Когда станок сломался, я переписывала поэмы целиком на сотни экземпляров. Мама умерла в семнадцать. На факультете литературы, я изучала только твою жизнь. Впервые прочла тех, на кого ты сам того не понимая оглядывался: Лотреамона, Гельдерлина. Но твоя пуповина обрублена гениальнее. Твой лимб. Он самый витиеватый. Помню дни, когда началась война. Помню, когда закончилась. Все, что между, – не помню. Помню Курильские острова. Наверняка, мне приходилось скрещивать ножки над тазами большевиков в опиумных курительнях Владивостока. Через месяц, я встретила ту, которая молилась на тебя еще сильнее. Я влюбилась. Мне было двадцать семь, но некоторые уже называли меня

«матерью». Та девушка была очень деликатным и по-настоящему не тронутым твоей поэзией в прозе созданием. Но потом ты закончил «Одно лето в аду».

une saison en enfer

Она сошла с ума на первых страницах, Артюр. Ее звали Михо, шел тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. В это время я ухожу из семьи, чтобы жить с ней за оконной решеткой. Но вот же она – настоящая депрессия. Ты и она в сумасшедшем доме, вас тянет к любой религии. Здесь выхода нет вообще, потому что несколько раз повеситься сложно. Ее тело перестает расти, нет месячных и не растут волосы. Она всегда молчит. Через два года, я прошу убрать из палаты все священные писания и начинаю творить сама. Я горячо верю в подобное исцеление духовных ран. Тех, что глубже метра внутрь. Ей любопытно, она начинает редактировать меня. Переписывая лист за листом, она настаивает на печати этой книги. Моя слава растет. Счастье возвращается к ней. Вот лишь некоторые названия всех выпущенных мной рукописей на сегодня: «A l'intérieur de l'hôtel «L'ennui-bleu», «Царство вагуса», «На помин того, как я отсосала Артюру Рембо, а он, затем, изнасиловал мою сестру. И мать». Эстеты, критики повально ссут кипятком.

Умница, выскребла себя вдаль и вширь. Досуха.

– Я боготворила тебя, Артюр Рембо, а теперь люблю.

Пока ты есть ангел, а бог-Годо так и не пришел, моей каторге нет конца. Этого номера явственно хватит на все мои сны.

Здесь каждый из нас – бог.

Твое покаяние – мои покои

Я помню, как одним хладным зимним утром слушал эту музыку на повторе и по-настоящему помыслил убить себя, стоя на границе четырех государств. Именно она заставила меня в первый раз и один на один столкнуться с болезненными чувствами внутри меня. Далекими воспоминаниями о детстве души и свежими – о гигантском блике печали, с которым я просыпался теперь. Снова, один на один. Лежа в трусливом ропоте перед ней. Я не ждал этому изменений. Музыка привела меня в это место, но она же и помогла мне преодолеть эти странные чувства. Увидеть все вокруг, как вневременное пространство, историю, которая несмотря ни на что продолжит развиваться. Теперь я знаю, знаю истину, что мы должны прощать других и себя самих не потому что они этого заслуживают, а потому что мы заслуживаем мира. Вокруг, внутри.

Тут сложно сосредоточиться, поэтому не цепляйся к словам, пожалуйста. Я лишь хочу спросить у тебя одну вещь: на что ты потратишь ночь, когда уже ничего не будет иметь значения?

Последнюю ночь.

Уже в семнадцатый раз в моей левой руке гаснет спичка. Правая устала держать знаменитый столовый прибор, из него давным-давно выплескалось все, в чем до сих пор мне видится зубами оторванный с мясом кусок от спасения. Что я только не смешивал, чтобы воспроизвести нашу жизнь вне этой многоэтажной клетки, запертой самой Госпожой Ночь. Кровать как трон перед пиром. Только так я тебя понимаю, оставшись наедине с собой в пустых покоях. В придонной акватории м

е
д
л
е
н
н
ы

х и тягучих синих слов свыкаясь с тем, зачем ты совершила то, что совершила.

В непонятной, нелепой позе я хочу закончить это взаимосвязанное дело, я не сдаюсь, но между большим действием и следующим перемещением задумываюсь, что не помню, в каком из номеров нахожусь. Потому в одиночестве я включаю синюю лампу хлопком одной руки, чтобы оглядеться.

Порой то, что мы видим, и то, что являет реальность, бывает столь разным. В иллюзии этого таинства я нахожусь на почти управляемой основе, а после снова теряюсь, ибо меня это утешает.

И зачем только ты возвращаешь мне ожидание. Оставь меня в покое. Я хочу забыть, как страшный сон, он все равно не будет здесь первым из числа, но не скрывается мне от этих бесподобных чувств, посланий изнутри. Я устремляю голову во все стороны тьмы.

Тут с самого зачина строительства не существовало выбора. На четырех стенах вокруг я оказываюсь способен распознать проекции твоего почерка.

И дверь захлопывается.

вправо

«Я так многому учусь у тебя. Спокойствию, доверию, отсутствию ожиданий. Сдаваться жизни в том, что есть, и отдавать себя в моменте, при этом сохраняя это полностью.»

влево

«Я влюблена и в то, какая я рядом с тобой, что наше взаимодействие раскрывает во мне. То, как я открываюсь тебе, так естественно, без усилий. И то, как много нежности я чувствую, как мне хочется окружить тебя ею, оградив от невзгод, если только ты применишь ее. А если нет, то и это не важно. Потому что того, что я это чувствую – уже достаточно. И я могу лишь благодарить тебя, а может и что-то выше нас за этот дар. За возможность чувствовать. Вот так.

Так много.

Так глубоко.

Так всепоглощающе.»

на пол

«И мне действительно совсем ничего не надо. Больше нет. И я у тебя этому учусь. Свободе. И за это тебе спасибо.»

в небо

«Ты не знаешь, потому что для тебя это естественно. Но для меня это нечто волшебное.»

Струны рвутся и дорогая безвкусная люстра тоже срывается с зеркального потолка, падает, пронзая тело в сантиметрах от моего сердца. Мимо.

Но теперь ты ближе к разгадке того, где оно, где моя ноша.

Malgré etat libre d'abricot (Reprise)

*О, пальмы, синие пальмы,
Вы все не случайны, вы из белых дорог, Жаль, мы не синие
пальмы —
Тебя обнял пророк, последний пророк.
Пальмы, о, синие пальмы,
Сладость касаний ваших спелых плодов, Втайне от палящего
солнца,
От оков.*

Мне не сидится на холодном камне, из которого чудесным образом сумели венами прорасти ветви моего прекрасного дерева. Перед глазами открыт сонник, я пытаюсь выяснить, отыскать подсказку, к чему все эти сюжетные линии, все эти бесконечные перемещения.

Две сотни лет назад ты и я договорились встретиться в щели под водопадом в местечке Big Sur. Несмотря на время, что я провел под солнцем мертвых, я все еще помню, как был влюблен в тебя. С тех пор поменялось очень многое. За время моего отсутствия эта страна обрела название, под этим водопадом занимались любовью все битники, одновременно и по очереди. Это место успели сделать своей меккой поклонники их текстов.

На сухой бумаге, которую я отыскал в песке кармана брюк без складки, скроенных так по-неактуальному, я вижу шесть цифр, и, если я прочел их верно, ты будешь здесь сегодня, рано или поздно. Приди, прошу тебя, пожалуйста. Дай же мне знать, милая, что моя новая жизнь что-то да означает.

Вытащи меня из нее. Вытащи из этих цифр, слов.

На моей левой руке так и не вымыло временем ту точку, которую ты цеременно нанесла на вену синим фломастером перед уколom. Она напоминает мне о сути литературы, создаваемом мной искусстве, где высший смысл хранится в словах, лежащих на поверхности. Они, правильно подобранные, расставленные, и подчеркивают унижение, в котором я лежу, разлагаясь, вне этого, но без него я бы и не осмелился мыслить.

Пока тебя не слышно, не видно, я ишу в оглавлении сонника твое милое имя рядом с моим и вчитываюсь в наше бестолковое толкование:

«С рассветом пчелиные рои и кричащие птичьи стаи обрушиваются на побережье, качают цветочные стебли, листву и обломанные верхушки деревьев, купаются в пыли, пролетают над еще объатыми тьмой долинами; небо, кишашее вольными птицами и золотистыми пчелами, проясняется, поворачивается к больному солнцу, глубокие раны которого затягиваются и подсыхают. Ручьи поворачивают к руинам и пробивают новое русло там, где прежде был неф храма или сточная канава темницы для рабов.

Напротив, вдалеке, на опушке елового леса, стучит барабан. Олени, лежащие на солнце напротив скалы, трубят и засыпают. Артюр и она с бьющимися сердцами бегут к океану, бросаются на песок, погружают в него пальцы, отрывают перепелов, засыпанных ночным движением песка, выпускают их на волю, скатываются по пляжу до кромки прибоя; из леса, из листвы на опушке на них смотрят молодые буйволы, оленята, орлята и волки; Артюр поднимает руку, юные звери скачут, прыгают, летят к синей воде; орленок слетает, расправляет крылья, ложится на нее, теплый пух его живота трепещет на ее груди; рядом с Артюром ложится лань, юноша обнимает ее, сжимает ногами; два молодых буйвола, зайдя в воду до живота, бьются

лбами, один волчонок лижет ее лицо, другой нерешительно застыл на берегу, потом входит в воду, у его морды выпрыгивают блестящие рыбки, он ловит их лапой; потом все перемешиваются, и из этого скопища шкур, перьев, когтей, рожек и клыков исходит треск языков и мускулов, жалобный писк, частое дыхание, смех Артюра; чайки, прилетевшие из открытого моря, спускаются на пляж, садятся на спины волчат и оленят; Артюр, смеясь, встает, слюна стекает с его губ на шею, на его плече сидит чайка, буйволенок подталкивает его в спину.

Волчата, высунув мокрые языки, часто дыша, катаются по траве, глазами, утонувшими в мягком подшерстке, ловят ее взгляды. Ладони Артюра поднимаются по животу девушки, накрывают ее груди, она видит волчат, улыбается им, Артюр целует ее улыбку, его колено прижимается к ее коленям.

Когда стемнело, она поднимается рядом с Артюром, идет к волчатам, сбившимся в кучу, спящим на эвкалиптовом пне, только один не спит. Она берет его на руки, относит на вершину горы, кладет на омытые лунным светом, свисающие до земли лианы, ложится под него, ласкает и обнимает его.

Скала рабов, вершина нового острова, заплыла грязью; Артюр, голый, встает, опираясь на локоть, раны на лице и коленях промыты, пропитанные грязью волосы блестят, губы красны, рот забит илом; выгнув спину, уперев руки в бедра, он открывает глаза и осматривается; присев на корточки, он разрывает ладонями грязь, освобождает ее тело, поднимает, прижимает ее к себе, целует в губы, в плечи, в грудь. Она просыпается, по ее закрытым векам, по ее ушам стекает слизь, щеки измазаны илом, Артюр целует их; так, голые и замерзшие, они даруют жизнь друг другу, а солнце зажигает их и включает в свою орбиту, как две новые планеты. Они бегут, погружаясь в хаос цветов, листвы, птиц и ручьев. Ладонь Артюра на ее животе, ее ладонь на его груди; солнце вспенивает их волосы.

Артюр поднимает ее, уносит ее вглубь леса, укладывает в русло теплого ручья, ложится на нее, над его спиной смыкаются травы; птицы ищут их, раздвигая кусты; они кричат, сидя на спинах оленят, на их клювы липнет паутина и коконы насекомых. Чайки взмывают во влажное небо, листья пальм, распрямляясь, освобождаясь от их тяжести, раскачиваются в тумане, как птичьи крылья; синеглазый голубь порхает над ручьем, садится на тростник, чирикает.

– О, ты, свет и тьма, мужчина и женщина, соедини во мне два пола, утоли мое желание их вечным слиянием в глубине моего тела.

После первого оплодотворения спавшие на ветвях птицы суматошно взлетают, бросаются в ночь, разбиваются о стволы, запутываются в петлях лиан; разбуженные звери сплетаются и разрывают друг друга на куски; пара оленей, спавшая на опушке, вскакивает, сталкивается; сломанные деревья цепляются за тяжелый воздух и, иссушенные, падают вниз.

Теперь они все время лежат, обнявшись на вершине скалы, и питаются собственным соком; земля под ними осела. Вокруг них высохли деревца, цветы увяли и сгнили на земле, насекомые умерли, пролетающие над ними птицы падают, едва их тени касаются скалы, бьют крыльями по земле, их клювы отваливаются, перья и глаза тускнеют; вокруг, в лианах и тростниках, кричат напуганные звери; однажды ночью Кмент встает и направляется в лес, он срезает свежие лианы, сплетает их, расстилает циновку на земле, перекладывает на нее свою Еву, сам ложится на нее; утром звери и растения

оживают, со скрежетом сплетаются до вечера, надвигающийся мрак наводит ужас на зверей и распутившиеся цветы, но ночью с безлунного неба на священную скалу изливается свет; Артюр и она встают, смотрят на каменную богиню, изваянную с рабыни в день обретения свободы. Они преклоняют колени, гладят мрамор барельефа; раскинувшееся под ними ночной океан блестит сквозь синие кусты.

Внизу, на поляне, снова, как и десятки лет назад, бьет барабан; сквозь раскидистые корни они видят лежащих сплетенных зверей; из глубин неба до них доносится крик, спускается на землю в раскаленном луче, Артюр и она прячутся в кустах, засыпают; в полночь кусты дрожат от шума гигантских крыльев; луч гаснет, крик стихает; на горизонте возникает белый парус, надутый яростным вихрем, в котором смешались все тайные вздохи земли и моря.»

Извечная дилемма. Все так и было бы, любимая. Но ты не явилась мне ни в одном из своих обличий и смыслов.

Этот бордовый будто тоже синий

Есть особый страх глубоких ночных часов, когда лунная яркость, тишина и холодный зной приближаются к пределу, когда Пан играет на дудке, когда день достигает высшего своего накала.

Чуть не испортив электронный ключ, как он портил девственниц, Артюр Рембо проник в номер Hôtel Costes. В течение года или уже дольше он колот и мял постель чаще, чем писал. В городе мрака и вихрей им не было найдено лучшего способа убивать время, чем будучи самому убитым. Всем творцам ставят в укор, что они ставят себя выше остальных. При жизни. Это может показаться слишком очевидным, но их талант просит обратного, а именно – затеряться в толпе, стать бессмысленным сейчас и в итоге, переродиться в липкий атрибут зауми. Светлее всего перед смиренной гибелью. Я ощущаю это на собственном опыте, который только и делает, что горчит. Как итог: я на свободе взаперти.

Он все еще помнил, как за продольным баром персонал отеля что-то прокричал ему, сидящему с другой стороны стойки. Жирными пальцами нерабочей руки он пытался нащупать бумагу с ручкой, потом ведь забудет, но наткнулся только на.

– Да не дергайся ты, ты мне мешаешь. Если не можешь поставить мне три раза за ночь – свободна. Вот так, да. Да, мне так нравится, как ты не останавливаешься... Чего ты улыбаешься в обе щеки? В смысле ласкать? Я поссать не могу. Абсолютно, сука.

Мы употребляем его ровно девять раз, чтобы эти девять кругов стерли нам воспомина- ния. Каждый ее сантиметр горит, ее тело в поту, ей сводит ноги. В моих глазах от нее исходит пар. Она ищет презервативы. На комодe, где-то в книге. На той странице, что едва ли посвя- щена тебе.

Такое развитие событий, такую бессмыслицу мне обычно не жаль. По тебе не текла и не сохла муза, Артюр. Она в тебя высморкалась.

Пылай, девочка, гори хоть до полудня.

Продолжительная вспышка фотоаппарата, и вот тебя вновь не существует.

Трубка ненадолго липнет к уху. «Ничего мне от вас не нужно, забудьте мое имя». «Хотя постоитe, подождите». «Мне плевать, где вы достанете мне усилитель». «Мне нужна от вас хотя бы гитара, я и без него перегружу все звучание этого мира». «Не вы одни знаете, какое сейчас время суток, мсье, именно поэтому я предлагаю вам не деньги, а свои лучшие побуж- дения в обмен на риф». «Если вы откажете мне». «Нет, вы именно отказываетесь». «Как вы не понимаете, только музыка должна была спасти мне жизнь этой ночью». «У музыкантов есть музыка, голос, даже слова... У меня же только последнее».

Я не умею играть на инструментах, как и не умею слушать. Я все так же кладу свою жизнь на то, что ко мне не относится и мне не принадлежит.

Мигрень с детским рвением забрала ясное мышление, предмет его необсуждаемой гор- дости, сделав рафинированным, лоскутным. Сконфуженный от собственной настойчивости, в которую сыграл, он присел в кожаное кресло, дабы додумать причину такого поведения и немного приподнять ночь в своих глазах. Смена часовых поясов? Какая погода была сегодня с утра? Днем? Были ли они? Пару минут в кресле, глядя в узор на занавесках, и он наконец обуздал разбитое на мириады кубиков сознание.

Живые люди для него уже как факелы для человека Среднего Века. Само собой разуме- ющаяся вещь. Напоминание о том, что легкие все еще можно наполнить воздухом. Насколько он с мужским концом, настолько же и без мужского начала. Все твои зубы мудрости повыпа- дали, как напоминание, что ты ебаный сопляк.

Вокруг жуткий гул. Меня понемногу охватывает мания.

Девочка ушла. Я запомню тебя заводным апельсином. Ни слова о пятнах на моем теле и таланте, ни косога взгляда, ни обходительного косноязычия. Простая. Простолюдинка. Еще несколько часов и она начала бы разговаривать со мной со словарем. «Героинчик». Беженка с Алжира? Кто ее научил так говорить? Количество сделанных в нее фрикций равно количеству ее извилин. К тому же дикая. Или нет. Самая одичавшая. Она боится умереть на улице или в BMW M3 восьмидесятого года, с одним из клиентов, но на первый взгляд и тут выжить слишком сложно.

Все мои женщины честные, они также, как и я, готовы радоваться лишь разлуке. Твои же женщины – фальшивые подделки. Ее пухлые губы на вид были, как два морских гребешка за необязательным ужином. Завтра наверняка будет отсыпаться, если ночь эта займет конец и обретет перспективу.

Что глубже: вагина этой девы или смысл мною вброшенных реплик?

Он поймал взглядом труд новомодного модерниста, оставленной одной из них. «Улисс». Исповедь душевного. Естественно, что свой подход будет нравиться. Я ведь даже на это не способен.

Хлестко, как лошадь, принудив поток сознания быть послушнее, он молча перебил воспоминание о руинах прошлого, облив пасть вином из бутылки, открытой еще при девушке. Она любит Pinot noir. Вино дешевое, однако греет. Да кому нужен этот повод? Он льет его на пол, пытаясь разглядеть в потоке жидкости себя счастливого. Этот бордовый будто

тоже
синий.

Продолжая делать глотки, он машинально зафиксировал прищур на закладке в книге и стакане с потушенным в нем тонким шприцом. Все снова застывает, слепит, как прожектор маяка.

«Каждый, кто проникает, думает, что он проник первым, тогда как он всего лишь последний член в ряду предшествующих, пусть даже первый в ряду последующих, и каждый воображает, будто он первый, последний и один-единственный, тогда как он не первый, последний и один-единственный в ряду, что начинается в бесконечности и продолжается в бесконечность.»

Вновь пустое кресло.

Вновь ощущение безразличности и страха, что ему это необходимы эти тупиковые чувства, что он без них не жилец. Не это ли фальсификация той красоты, на которую ты так любишь ссылаться? Пока сотни лун берегут твоё тело, ты платишь им таким стилем жизни, столь чудным опытом. Даришь дочерям Евы всю мощь своего гениального тысячистасемидесятимиллиметрового пера. Твоя великая депрессия. Дай несколько мгновений – ты наверняка проснешься прямо в аду.

Задерни шторы. Тебя тут нет. Как будто нет.

Смерть, буквально, – сейчас это ты и я. Чтобы поправить это, в израсходованном воздухе комнаты я кладу одну руку на другую:

– Господи, Боже мой, истинно сокрушаюсь я, ибо прогневил Тебя, Господи. И ненавистны мне грехи мои паче всякой скверны и зла, ибо совершил противное святой воле Твоей. Ты же, Господи, всемогущий и благой, и достоин всяческого поклонения, ныне. Господи, упование мое, милостью Твоею святою заступи, да не прогневолю Тебя до конца дней моих, и да будет жизнь моя искуплением грехов.

В любом отеле можно отыскать Библию, но мне приходится заниматься своей. В какое нежное, теплое лоно попадает сердце с каждым звуком собственной молитвы. Языки святого

пламени то примерзают ко льду ночей, то нещадно сжигают самоуверенный нрав. Стойкое чувство гармонии, идеального созвучия, прямо как в голодном, но полном на родные фырканья детстве. Понедельник тогда был посвящен Святому Духу, вторник – ангелам-хранителям, среда – святому Йозефу, четверг – пресвятому таинству причастия, пятница – страстям Господним, суббота – пресвятой деве Марии.

Но сегодня воскресение.

Уставившись на себя в состаренное зеркало, одной рукой опираясь на комод, он начал сознавать, что физически уже не способен вместить впитать фибрами столько вещества. Голоса в его ушах, похожие на хаотичный прилив Бискайского залива, окончательно заполнили пространство комнаты.

Мерзость на языке. Мерзость в желудке, в ноздрах, пальцах, голове, внутри члена.

Сегодня на нулевом этаже от передоза скончались две моих поклонницы – чуда не случилось. Здесь вы все рождаетесь поистине сумасшедшими. Вы были так добры и сентиментальны по отношению ко мне. Вы все такие уникальные, такие разные. Иногда я тоже хочу быть, как вы.

Наебал вас, стадо. Я ваш патологоанатом, новый поводырь. Отсюда видно мне, что все вы, каждый, – пустые манекены. Я проявляю вас, словно фотографии в лаборатории головы. Умиляюсь, как пляшите вы на моей ладони, бестселлеры, синонимы, как питаете мое эго. Вы грустите по вечерам вместо того, чтобы взять и перетрахать пол-Парижа.

Хватит вас с меня.

– Убирайтесь нахуй, я не способен так работать. Прочь все! Все до одной! И забирайте с собой своих лживых богов. У всех них не было чувств! Не возвращайтесь.

А где все?

Здесь каждый из нас был богом.

Господи, боже мой. Успокой меня, спусти за чем-нибудь. Спусти за ней. Только не забудь положить в карман мой ключ, чтобы вернуть обратно. К бесам.

Разбив об пол стакан, а за ним и надежду на бескрайнюю ночь, заплатку для обрывков памяти, с высокоградусным трудом Артур закрыл дверь восприятия в номер, и она послушно слетала с петель. Простая, быстрая мысль – вверх или вниз. Пройдя вдоль коридора мимо других номеров, о содержимом которых он никогда не узнает, ближе к узкому окну, он наткнулся на один из лифтов.

Гарсон, тоже черный. Осознав, что на нем одежда, едва покрывающая руки, Артура настигло резкое и невероятное по силе чувство стыда перед статным юнцом. Невыносимый жар. Мое специфичное витилиго. Только мое.

– Не смей смотреть на них. Не смей смотреть на пятна!

– Мсье, я, я даже не пытался. Клянусь, честное слово, я смотрел на рычаг. Он для красоты, вот здесь кнопка, если вы захотите спуститься самостоятельно.

– Когда-нибудь и к тебе это прикоснется, доверься мне. Мир ошпарит тебя этим кипятком прямо из фьордов души, когда ты совсем не будешь этого ожидать. Все мы в руках случая, запомни.

Наблюдая за тем, как юнец вылезает из лифта, остановившегося меж этажей, он не имел ни малейшего понятия, что происходит. Сколько же в этом отеле пробелов. Рваное, рваное шапито.

– Где здесь ближайший парфюмер?

– Мсье, я не думаю, что он вас... Мсье, вам через дорогу, лишь преодолите подземный переход. Мсье?.. Я вынужден спросить, принимали ли вы что-то.

С запозданием выпалив отдаленную для слуха Артюра просьбу спрятать шприц, управляющий, узнавший его, запотевшими очками наблюдал, как поэт в прозе убегает в нужную ему сторону. Спускаясь по лестнице в парижское метро, он едва мог нащупать ногами ступеньки. Галогеновый мир перекрестков медитативно отделялся от него и падал вместе с телом ниц, спотыкаясь о встречный ветер. Сквозь подобие боли ему казалось, что он почти что ловит это время. Он неуверенно, но все-таки перешагивает отходняк. От самой кровати через весь Париж был выложен серпантин из лепестков синих роз, что вел до двери единственной парфюмерной.

Горела масляная кровь и кипела нефть в легких. В его глазах – тьма. Он не видел, куда шел. Эти курящие руки еле слушались, они были не его. Туннель, его светофоры, встречные поезда. В вагоне максимально безлюдно, застрявшую меж пальцев сигарету некому отобрать. Голосов в центрифуге сознания стало втрое меньше, но оно не то, чтобы опустело. В них все так же узнавались все те, которых он когда-то любил. Вы-то и нужны мне именно сейчас.

Чтобы проникнуть в нее, ему пришлось разбить окно. Проще было перечислить то, чем ты тогда не пахла. Твои верхние ноты всегда включали в себя масло апельсиновых листьев, гальбан и смолу мирры. В нижних угадывался белый кедр, мускатный шалфей, герань и корицу. База твоя была составлена из ладана, сандала и моего табака.

Огромные колбы, из которых он в истерике, а не в пелене ярости, пытался получить ее заветную формулу, беспорядочно смешивались одна за одной. Он искал запах холодной земли. Аутопсии. Металла в ее крови. Сколько раз еще тебе сказать, что ты должна воскреснуть здесь и сейчас.

Я вдыхаю этот случайный парфюм через вену и возвращаюсь туда, где.

Туда, где, наполняя его невыразимыми эмоциями, они в такт с ним шатались влево и вправо. С ним и его одинокой, бесконечно долгой мессой. Друг за другом они проходили мимо него, одаривая своей радостной, знающей улыбкой. Славная музыка, игравшая где-то вдалеке целую вечность, напоминала знакомые наизусть гармоник с сольной пластинки Beth Gibbons. Через мгновение, собравшись за спиной Артюра, они вновь покорно оставили его один на один с херувимом с женским ликом. С ней, с ее глазами разных цветов, как у степных волчиц, полными вседозволенности, которая за секунды напрочь смела стойкое ощущение недосказанности в эту ночь. Во все прошлые ночи в отеле, кроме одной-единственной чересчур далекой, случившейся в начале-начал.

Поймав момент, ее потрескавшиеся губы и выдыхающие сухой воздух легкие нечто закричали, видимо, назвав его по имени. Словно в чем-то разоблаченный, он терялся в слишком быстрых поездах и самолетах, трансатлантических перелетах, верфях и портах, тошнотворно длинных расстояниях, бесконечно следуя сам за собой. Все, кроме нее, становились лишь фоном, статистами. Держа ее в своих цепях-объятьях, уверенный, что дивной девушке в платье цвета колокольчиков не уйти, он начинал узнавать вокруг свой дом. Но кто живет в нем, если не мы? Кто в этом заколоченном доме? Здесь, в обветшалых, полуразрушенных и обглоданных временем стенах ему больше всего хотелось быть самим собой. Казалось, теперь все это происходит на трезвую голову.

Никак нет.

Не издав ни звука, плоду его опьяненного воображения удалось развязать слабые узлы мысли и неприметно для всех исчезнуть. Устаревший ритм пластинки сменился каким-то грубым лошадиным визгом, темнота высасывала из крошечной вселенной избытки света. Артюр, аритмично задыхаясь, дрожал.

На часах застыли две пятерки и тройка. Окно было настежь открыто, воспроизводя неприличный для ранга отеля скрип. Пока он смотрел в его сторону и пытался вспомнить, где и за что он находится, несколько разбросанных пакетов с порошком забрала с собой непогода. Трезвонил, по всей видимости, не первый раз, телефон. Поставить себя на ноги он сходу не смог, глаза слезились от холода, оттого к трубке Артюру пришлось ползти наощупь. В истоме сняв ее, он услышал слегка забытый голос, казалось, себя самого. Не до конца очнувшийся он был вынужден вслушиваться в пьяную, по-южному крикливую декламацию своего стихотворения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.